

Эти вопросы со всей очевидностью обращают нас помимо всего прочего к изучению особенностей текстов, фундирующих институциональные культуры.

Очевидно, что это достаточно крупная исследовательская задача, которая, с одной стороны, не исчерпывается областью семиотики культуры, а с другой – требует не только собственно текстового, но и дискурсивного анализа, предполагающего выявление внетекстовых факторов смыслообразования.

1. Бурдые П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдые, Гидденс, Хабермас. Новосибирск : НГУ, 1995.
2. Джемс У. Воля к вере. М. : Республика, 1997.
3. Ежова Т. В. К проблеме изучения педагогического дискурса // Вестник ОГУ. 2006. №2. Февраль. Т. 1. С.52–56.
4. Луман Н. Самоописания. М., 2008.
5. Мечковская Н. Б. Язык и религия. М. : ФАИР, 1998.
6. Фуко М. Рождение клиники. СПб., 2008.
7. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. М., 2006.
8. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М. : Гнозис, 2004.
9. Fitzgerald T. The ideology of religious studies. N.Y. : Oxford University Press, 2000.

А. П. Люсий

**Парад и марш: эйкономика текстов. Опыты мастер-нарративов
в условиях историостазиса**

УДК 008.80

Статья представляет собой опыт нарративного подхода, направленного на взаимосвязь истории культуры с практикой историков в их работе с памятью. В то же время с привлечением опыта современного искусства обосновывается идея Вальтера Беньямина, что для мышления необходимо не только движение мысли, но и ее остановка. В итоге обосновывается идея создания ситуационного интерактивного памятника битвы истории и памяти, с целью освобождения последней из-под ига первой.

Ключевые слова: символический обмен, всеобщая экономика, нарративная функция, дискурс, авангард, реконструкция.

A. P. Lyusyj. *Imagonomics of history: Experiences master-narrative in conditions history with attraction of real and imagined mechanisms of a symbolical exchange of memory/oblivion*

The article represents experience the narrative approach directed on interrelation of cultural history with practice of historians in their work with memory. At the same time with attraction of experience of the modern art Walter Benjamin's idea is proved that for thinking it is necessary not only thought movement, but also its stop. The idea of creation the situational interactive monument of fight of history and memory, for the purpose of clearing of last from under a yoke of the first as a result expresses

Key words: symbolical exchange, general economy, narrative function, discourse, avant-guard, reconstruction.

Внутренние войска реконструкции (Введение)

– Озирисом? – переспросил я.

– Да. Хотя не очень понятно, какая связь. Зато четвертого ноября, в День Ивана Сусанина, он у них пять раз воскресал под Глинку. Специально кипарисы завезли и плакальщиц.

– Все национальную идею ищут, – сказал я.

В. Пелевин. *Empire V*

«Имеет ли нарратив свою собственную познавательную ценность?», – задается вопросом американский историк, а в данном случае скорее *историолог* Алан Мегилл в книге «Историческая эпистемология». Оба ответа, утвердительный и отрицательный, представляются ему правильными, как и то, что отношения между ними не симметричны, поскольку ответы эти занимают разные концептуальные территории. «Чтобы сказать, что нарратив имеет собственную познавательную ценность, скорее нужно вызвать в памяти общее... а не отдельное. Чтобы твердо придерживаться ответа “Да”, необходимо, таким образом, понимать историописание, прежде всего, как имеющее целью подтвердить или изменить способы людей видеть мир и действовать в нем. Наоборот, чтобы твердо придерживаться ответа “Нет”, необходимо понимать историописание как, прежде всего, нацеленное на предложение специфических, обоснованных дескрипций и объяснений прошлой действительности, не подтверждая и не изменяя “структуру исторического сознания” людей... Но эти ут-

верждения расположены в пределах интерпретирующей структуры, связанной с настоящим. Таким образом, ответ “Да” истинен в более широком смысле. Однако, сказав это, я также должен обратить внимание на то, что ответ “Да” не только отдает дань нарративу, но и приглашает к его критике» [14: 172]. Нарратив – путь от теории к практике точного, методического и непрерывного конструирования, деконструирования и реконструкции исторического прошлого.

Импульсом для данных заметок опять послужил парад на Красной площади – на этот раз 7 ноября 2011 года [12]. Точнее, жанр мероприятия был определен как торжественный марш, посвященный 70-летнему юбилею парада 1941 года, сыгравшего исключительную роль в поднятии морального духа (его участники, как известно, прямо с площади шли на фронт). Сама война в тот момент приобрела характер войны парадов, воображаемого и реального, оказавшегося равнозначным победе в большом сражении. Ведь Гитлер тоже надеялся провести свой военный парад к этому времени именно в этом месте, а когда стало ясно, что этого не получится, авиация противника делала все, чтобы помешать состоявшемуся в реальности параду, но ПВО Москвы оказалась на высоте.

И вот теперь, когда в живых осталось 65 участников того парада, из которых прибыть на Красную площадь смогли только 42 ветерана, сначала имела место историческая реконструкция парада 1941 года. Были использованы раритетная техника образца 1941 года и тогдашняя зимняя форма одежды, в которой прошли по парадному пути около 900 нынешних военнослужащих внутренних войск МВД России со знаменами воинских частей своих дедов и прадедов. Затем по брусчатке двинулись около четырех тысяч юных представителей военно-патриотических клубов, организаций и поисковых отрядов, а также воспитанники кадетских школ Москвы, что превращало урок памяти в урок преемственности и надежды.

Однако азартные игры держателей российского календаря, напоминающие тасование карточной колоды (даже не классическая «тройка, семерка, туз», а примитивнейший «чет-нечет»: «семерка» – «четверка»), мемориально-воспитательный эффект урока существенно ослабили¹. Парад 1941 года был празднованием 24-й годовщины

¹ Ср. со срочно организованной в Москве, вопреки всем педагогическим установкам насчет недопустимости контрольных работ в выходные дни, да еще в неурочное время, «деполитизирующей» единой городской контрольной работой по русскому языку в субботу 10 декабря 2011 года в 15.00, ко времени начала первого оппозиционного митинга на Болотной площади. За одно это министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко заслуживает отставки (при том, что самим оппозиционерам в качестве жертвы в тот момент, кажется, вполне достаточно было председателя ЦИК В.Е. Чурова, возмож-

Октябрьской революции, с датой которой новая российская власть эпистемиологически совладать не смогла, предпочтя мановением моющей руку руки ликвидировать ее как класс. Сначала был придуман «промежуточный» (социально примирительный и «уговорительный») День согласия и примирения, который затем вообще перестал быть «красным днем календаря», уступив место «альтернативной» дате 4 ноября, дате освобождения Москвы от польских «интервентов», которые, между прочим, были вовлечены сюда для наведения «порядка» тогдашней отечественной «семибоярщиной» образца XVII века для сохранения своих властных позиций, как некогда это случилось с «варягами». В итоге 7 ноября 2011 года школьники, вместо того, чтобы припасть к телеэкранам, для опознания своих одноклассников в красочном действе уже не реконструкции, а посильной перспективы, сидели на обычных уроках (организовать просмотр шествия в самих школах тоже никому в голову не пришло). Так что на твердую педагогическую «четверку» политиканствующие календарные картежники пока не тянут, оставаясь максимум – «троечниками».

В свое время Платон в диалоге «Теэтет» обосновывал понятие *eikōn* (отпечаток) как основу искусства «верного воспоминания», которое противопоставлялось *phantasma* (призрак) как искусству творить призрачные подобию. Подробно рассматривая эту пару понятий в книге «Память, история, забвение», П. Рикёр намечает эпистемиологические принципы того, что мы бы сформулировали как *эйкономика* истории.

С одной стороны, предлагаемый термин очевидно перекликается с всеобъемлющим понятием *экономика* (*oikonomia*), первоначально обозначавшем домоводство, включавшее в себя не только организационно-управленческие отношения, но и отношения ценностного и энергетического обмена, взаимодействие которых строится на принципах дополнительности. Позднейшая неклассическая матрица «всеобщей экономики», которая была унаследована от Ф. Ницше через Ж. Батая Ж. Деррида в его принципе «экономимезиса», была представлена в исследованиях С.Л. Кропотова, в которых данная концепция «позволила выявить соответствие между избытком коннотативных значений в искусстве (в частности, в искусстве историописания. – А.Л.) и эскалацией знаковых различий в товарном производстве в постиндустриальном обществе», зафиксировать подобие функционирования прикладного и фундаментального знания оборотному и фон-

ная жертва которым, если уж размышлять в духе пространственно-временного погружения в XVII век, напоминала бы жертву царевым окольничим Плещеевым с целью погашения Соляного бунта в 1648 году). Однако контрольные работы продолжились и в последующие «критические» московские субботы.

довому капиталу – по законам обращения денежной массы¹. К этому также можно добавить теорию прибавочного элемента в искусстве, сформулированную Казимиром Малевичем, но эту тему мы отдельно затронем позже.

С другой стороны – тут чисто акустическое присутствие оклика «Эй!», в сознании автора перекликающегося с тем окликом Слова (Логоса), которым Бог в раннем христианстве окликал вещи, так вызывая их из небытия, что в XX веке пытался повторить основная фигура внимания и полемики с стороны Ж. Дерриды М. Хайдеггер². «Не превращает ли это своего рода увековечение, осуществляемое в ходе повторения ритуалов, независимо от смерти одного за другим тех, кто участвует в праздновании, наши поминания в акт глубочайшего от-

¹ «В рамках матрицы “всеобщей” экономики осуществляется смещение понимания теории и теоретического: вместо абстрактного, дискурсивно доказуемого экстракта позитивной сути, она дополняется внешними ей, нетеоретическими элементами (метафорами, риторикой, нарративом, политической стратегией и т. п.), маргинальными ей жанрами мистического общения, художественного письма, границы и логика которых превышаются и смещаются. Вся радикальность отличия, вводимого посредством “всеобщей экономики”, состоит в проблематизации самой возможности дискурсивного объяснения, в оспаривании возможности полного учета логически непредвиденных последствий самых продуманных, рациональных действий и их результатов, будь то в макроэкономике, будь то в научной теории или художественном тексте. ...Деррида утверждает неклассический вариант *мимезиса* в философии и искусстве. Объектом репрезентации в “экономимезисе” являются не предметы, а порождающие их процессы знакового производства и символического обращения. Для того чтобы уподобиться их операциям, субъект должен в себе, в своем имени, теле, судьбе обнаружить следы их работы, преобразив их действие в тексте в ряд экономических эффектов, измерений. Первый из них – это погружение благодаря соединению экономики и дифференса в атмосферу внешне мотивированной, искусственно созданной неотвратимости – своего рода экономической неизбежности. Второе измерение выражает принцип “экономической иронии”, непрерывного переворачивания ценностных дискурсивных оппозиций с целью переосмысления претензий субъекта на достаточность и стабильность существования... Амбивалентная логика “экономиметического” письма, стирающего старый инструментальный мышления и тут же конституирующего новые различия, делает письмо причастным самодвижению истории культуры... Подлинным субъектом является продуцируемый макроэкономикой перманентный сдвиг ценностных структур. Основой письма является не волюнтаристское желание нечто сказать, но стремление избавиться от дестабилизированного состояния переполненности действием силы сигнификации и выйти из-под ее власти, подарив ее читателю посредством текста» [10:23, 30, 31] [11:122–135].

² «Оклик тождества исходит от бытия сущего. Но там, где бытие сущего в западном мышлении на его раннем этапе начинает получать выражение, а именно – у Парменида, там “to auto”, тождественное, заявляет о себе с почти безграничной широтой» [23:21]. «Всякое проговаривание и “окливание” заранее уже предполагает речь. Если обыденному толкованию известен “голос” совести, то здесь мыслится не столько озвучание, фактично никогда не обнаруживаемое, но “голос” воспринимается как давание-понять. В размыкающей тенденции зова лежит момент удара, внезапного потрясения. Зовут из дали в даль. Зовом задет, кого хотят вернуть назад» [22:271].

чаяния, чтобы противодействовать забвению в его наиболее скрытой форме – в форме стирания следов, превращения в руины? – вопрошал П. Рикёр. – Ведь это забвение, как кажется, действует в точке соединения времени с физическим движением, в той точке, где, как отмечает Аристотель в “Физике” (IV, 12, 221 a-b), время “точит” и “уничтожает”» [19:72]. Далее следует формула, напоминающая знаменитые экономические схемы «Капитала» К. Маркса: «...Освободительная сила работы скорби, будучи работой воспоминания, оплачивается дорогой ценой. Здесь действует принцип взаимосвязи: работа скорби есть цена работы воспоминания; однако работа воспоминания – это прибыль от работы скорби» [19:108].

Переходя к *мнемотехническому перевороту* по части соединения мнемотехники и оккультной тайны, центральной фигурой которого стала исследовательница творчества Джордано Бруно Фрэнсис Йейтс, Рикёр размышлял об искусстве «почленного соответствия», позволяющего «разместить на концентрических кругах “колеса” – “колеса памяти” – положение звезд, перечень добродетелей, набор выразительных жизненных образов, список понятий, череду героев или святых, все мыслимые архетипические образы (в нашем случае – от семибоярщины до семибанкирщины. – А.Л.), короче говоря, все то, что может быть перечислено, систематизировано» [19:98]. В поле зрения французского философа начатое Сократом и Платоном перемещение дискурса об *eikon* в сферу «технических инициатив» образной инструментализации памяти. На глубинном уровне символических опосредований действия память включается в работу по конструированию идентичности с помощью нарративной функции. «Подобно тому, как персонажи рассказа, а вместе с ними и рассказанная история включаются в интригу, нарративная конфигурация способствует моделированию идентичности главных действующих лиц, а также и контуров самого действия» [19:98].

Не претендуя на исчерпание архетипических образов предлагаемым неологизмом, предлагаем далее вниманию читателя три истории об истории (*stories about history*), в центре которых образы реальных и воображаемых механизмов, заявляемых нами как стохастические¹. «Так что, – писал М. Фуко в «Порядке дискурса», – если задаешься целью осуществить в истории идей самый малый сдвиг, который состоит в том, чтобы рассматривать не представления, лежащие, возможно, за дискурсами, но сами эти дискурсы как регулярные и разли-

¹ Стохастический (от греч. *stochastikos* – умеющий угадывать), случайный, вероятностный. Мониторинг и изучение стохастических процессов необходимы для создания управляющих структур и моделей противозатратного стохастического экспертного механизма функционирования больших иерархически активных систем.

чающиеся серии событий, то, боюсь, в этом сдвиге приходится признать что-то вроде этакой маленькой (и, быть может, отвратительной) машинки, позволяющей ввести в самое основание мысли *случай*, *прерывность* и *материальность*. Тройная опасность, которую определенная форма истории пытается предотвратить, рассказывая о непрерывном развертывании идеальной необходимости. Три понятия, которые должны были бы позволить связать историю систем мысли с практикой историков. Три направления, по которым должна будет следовать теоретическая работа» [21:83–84]. Три «метафорогенных устройства» как «блока условных эквивалентностей», может быть, способных генерировать новые тексты, составляющие «новую конфигурацию предпонятой сферы действия при помощи вымысла» [18:9].

Экоаудит: Танк и ветряная мельница

*Мельница на ветру для всех, кто
побежден в бою.*

Отто Ран

Двадцатый век оканчивался, помимо прочего, если кто-то помнит, и Международным конкурсом эссе «Освободить прошлое от будущего? Освободить будущее от прошлого?». Коллективным организатором его выступили журнал *Lettre International*, Институт им. Гете и тогдашняя культурная столица политически еще не единой Европы – город Веймар. Аналог замысла находился разве что в почти три столетия тому назад проведенном Сорбонной интеллектуальном турнире на тему «Как влияет развитие наук и искусств на улучшение нравов?», который выиграл писатель из Женевы, ставший на следующий же день символом своего, и не только своего, времени – Жан-Жак Руссо с работой, содержащей знаменитый призыв «Назад к природе!».

В конкурсе 1999 года, гран-при которого составлял 50 000 тогдашних дойчмарок, приняло участие 2281 эссеистов из 123 стран, включая известных ученых и писателей, лауреатов Нобелевской премии. Автор этих строк тоже не корысти ради (подтверждением чего служит сам факт публикации данных заметок в безгонорарном издании) принял участие в соревновании с эссе «Три танкиста», в котором в роли главного действующего лица выступил (или – выехал?) Темпоральный гносогенный танк (ТГТ) с двумя смотрящими в разные стороны, как у *тяни-толкая*, орудиями. Как доверительно сообщил мне позже один из консультантов, организаторам не понравился проду-

цируемый этим образом метафорический ряд – от «Быть или не быть» до «Бомбить или не бомбить» (остатки еще формально существующей Югославии, по отношению к которой у устроителей никаких сомнений не было) [20].

Победительницей оказалась студентка МГИМО Иветта Герасимчук, что было расценено в прессе как триумф России. Через пару лет Кирилл Кобрин обнародовал данные, согласно которым эссе победительницы «Словарь ветров» представляет собой механическую компиляцию из одноименного «Словаря ветров» географа Л. Проха [17] и посвященного ему сочинения Игоря Померанца «По шкале Бофорта» [9].

Мнение К. Кобрин опровергает предприниматель и продюсер Борис Румшицкий (правда, в устной форме), сообщив автору этих строк о своих планах «реконструкторского» издания под одной обложкой обоих «Словарей ветров», с последующей постановкой одноименной оперы в Балаклаве, в бухте которой в 1856 году внезапно налетевший шторм уничтожил практически весь англо-французский флот (своеобразная словарно-нарративная кульминация обоих текстов). Так ветры перемен и ветры постоянства, взаимодействия и противодействия которых и составили внутренний сюжет эссе, продолжили овеать его и в последующем, уже в отрыве от собственно содержания.

Сама И. Герасимчук с тех пор серьезных вторжений в историко-софские сферы не предпринимала, став достаточно известным экспертом по экологии, в частности, старшим советником Программы по экологизации рынков и инвестиций Всемирного фонда дикой природы (WWF), одним из авторов доклада о возможных путях России как экологической сверхдержавы», идеальным из которых было бы продвижение от «реагирующего» подхода к корпоративной социальной ответственности [5]. И именно на этой почве она косвенно произнесла свое «Вперед, к природе!» (а отнюдь не «держат нос по ветру»). Пока что, согласно ее уже аналитическим, а не конкурсным наблюдениям, погруженной в «веймарский синдром» России в международном «бестиарии энергоэффективности» принадлежит роль особо крупного доисторического животного – диплодока. Во-первых, энергоемкость российского ВВП сегодня в 2–3 раза выше, чем аналогичный показатель не только в развитых государствах, но и в остальных странах БРИК. А во-вторых, у России, похоже, два мозга, как и у диплодока (и других ящеротазовых динозавров): один – «головной», управляющий передней половиной тела, другой – «крестцовый», отвечающий за движения остальной части туловища.

«Головной» мозг России, похоже, понимает, что если снизить энергоемкость российского ВВП, то обеспечение международных обязательств за счет запасов месторождений, введенных в коммерческую эксплуатацию еще в советское время, будет «растянуто» на более долгий срок без дополнительных инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы. Кроме того, инвестиции в энергоэффективность и снижение выбросов парниковых газов, особенно с учетом международных механизмов «климатического» финансирования, – мощный инструмент модернизации и диверсификации экономики.

Вместе с тем «спинным» мозгом Россия чувствует, что низкая энергоемкость экономики стран-покупателей отечественных углеводородов дает им большую свободу для маневра в отношениях с поставщиками и чревато снижением цен на энергоресурсы. А следовательно, подрывается основной сектор российской экономики, взамен которому «головной» мозг пока мало что сгенерировал. На арене международных «климатических» переговоров Россия занимает гораздо менее активную позицию, чем большинство других стран «Большой двадцатки», а «зеленая» составляющая в пакете антикризисных мер в нашей стране, по оценкам ЮНЕП, равна нулю (в Китае – свыше \$200 млрд, в США – свыше 100, в Японии – 36, в Германии – 14).

То, что «задний ум» понимает пока гораздо слабее – это то, что с энергоэффективным и «низкоуглеродным» ростом экономики открываются немалые возможности и для российского ТЭК. Во-первых, первый шаг к повышению энергоэффективности на всех рынках сбыта – замещение нефти, по запасам которой Россия занимает только седьмое место в мире, газом, по запасам которого наша страна – абсолютный лидер. Во-вторых, опыт программ финансирования энергоэффективности, реализуемых в России ЕБРР и МФК, показывает, что инвестиции в энергосбережение в нашей стране весьма выгодны, в том числе на предприятиях ТЭК, хотя сроки окупаемости варьируются. В-третьих, в условиях международной «декарбонизации» экономики и появления новых наднациональных механизмов «климатического» финансирования растет инвестиционная привлекательность «альтернативных» энергетических проектов. Среди них – утилизация попутного газа, строительство малых и средних АЭС и ГЭС (хотя в ряде случаев у экологов могут возникать возражения), освоение других возобновляемых источников энергии, переоснащение объектов и сетей газо-, тепло- и электроснабжения» [6].

В какой степени эти два типа мышления обусловлены двумя видами памяти по А. Бергсону? М. Хальвакс задавался аналогичным вопросом, отчасти возвращая нас к проблематике введения данных заметок: в каком смысле исчезновение или трансформация рамок памя-

ти влечет за собой исчезновение или трансформацию воспоминаний? «Либо между рамкой и разворачивающимися в ней событиями имеется лишь соприкосновение, но они созданы не из одной и той же субстанции, подобно раме картины и помещенному в ней холсту. Это как речное русло, берега которого заключают в себе поток, но лишь отбрасывают свое отражение на его поверхности. Либо же рамка и события тождественны по природе: события суть воспоминания, но и сама рамка состоит из воспоминаний. Эти два рода воспоминаний различаются тем, что вторые более устойчивы. Всегда заметны нам, и мы пользуемся ими для припоминания и реконструкции первых. Именно эту вторую гипотезу мы и припоминаем» [24].

Приведем также в виде комментария мнение еще одного французского историка Поля Вена: «Первый долг историка – установить истину, а второй – сделать понятной интригу: у истории есть критика (источников), но нет метода, поскольку метода понимания не существует. Так что кто угодно может вдруг сделаться историком, вернее мог бы, если бы при отсутствии метода история не требовала наличия культуры. Эта историческая культура (ее можно было бы также назвать социологической или этнографической) постоянно развивалась и достигла значительного уровня за последние один-два века: наши знания о *homo historiens* богаче, чем у Фукидида или у Вольтера. Однако это культура, а не знание; она заключается во владении топикой, в возможности задавать все больше вопросов о человеке, но не в способности на них ответить. Как пишет Кроче, формирование исторической мысли состоит в следующем: со времен древних греков историческое знание значительно обогатилось; но не потому что нам известны принципы и цели человеческих событий: просто мы вывели из этих событий гораздо более богатую казуистику. Таков единственный вид прогресса, на который способна история» [3:254].

Историческое спинномозговое мышление – это мышление геополитическое, о котором последует речь далее.

Этажерка ходиков

Соблюдение единств, привязанность к пространственно-временной неповторимости – это последние пережитки истории как хранилища национальных и династических воспоминаний.

*Поль Вен. Как пишут историю.
Опыт эпистемологии*

Пытаясь создать полную картину средиземноморского мира времен Филиппа II, Ф. Бродель разделил этот мир на три уровня: «структуру», «конъюнктуру» и «событие». Данный сюжет – именно о конъюнктурах.

При иначе сложившихся в стране и мире условиях Ленин мог бы стать одаренным предпринимателем, нэпманом для самого себя, подобно социалисту-предшественнику Роберту Оуэну. А филологу-античнику Вадиму Цымбурскому не пришлось бы заниматься политологией, переходящей в геополитику. Последняя, составленная самим автором, но увидевшая свет уже после его смерти книга «Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования» фиксирует точку этого перехода.

Предложив ранее основополагающую научную метафору *Остров Россия*, в течение всей последующей жизни Цымбурский прослушивал, как терапевт сердце, текущие ритмы сжатия/расширения этого Острова, пристрастно обозревая заодно и дальнейшую жизнь самой этой, запущенной в доступное общее пользование, метафоры. При этом текущая геополитика в целом схвачена ученым как донаучная алхимия, паранаучность языка которой обусловлена дорациональными по происхождению географическими *смыслообразами*, на которых строилась пропаганда стратегий вроде борьбы Континента с Океаном. Но ведь и эпохальных «заказов» на вневременные метагеографические мотивации нет, без чего получится не связная история геополитической мысли, а разве что «размазня» пространственного подхода при анализе политических процессов.

Впрочем, и для самого Цымбурского геополитика – не наука в принципе. Это сейчас скорее тип мобилизационного политического проектирования, преследующий три главных цели: «1) внушить элитам и народам отождествление с неким “географическим организмом”, изображенным моделью; 2) заразить их сознание некой “жизненной проблемой” этого “организма”, которую несет в себе модель; 3) увлечь их волю тем решением этой проблемы, которое модель подсказывает своей образной структурой». Это «форма внесения в мир политической воли, а не научная дисциплина, живущая процедурами верификации, самоопровержений» [25:136].

Отсюда закономерный вывод, что для геополитики важны не столько алхимические донаучные или научные (в духе атомизирующей физики), сколько химически функциональные образы. «Лозунг “Россия – европейская держава” геостратегически обесмыслен, а “Россия – Евразия” не дает никаких ориентировок, кроме стимула к чисто словесным авантюрам вроде “последнего броска на Юг”». Апелляции к межеумочности России на предполагаемом «пути из

англичан в японцы» лишь указывают на заключенную в географическом положении возможность, каковая, однако, пока еще никогда не реализовывалась в истории, так как основные связи Евро-Атлантики и великих приокеанских платформ Азии всегда в прошлом осуществлялись в обход России, касается ли это транспортного транзита или области идей (даже марксизм Япония узнала независимо от русских). И сегодня положение «между двумя океанами» (или, точнее, «между двумя очагами экономической мощи») – «образ, вовсе не утверждающий за нами непременно какую-либо прочную мировую функцию, но больше способный сигнализировать об опасности расползания России» [25:136].

Как глобус ни крути, но опорный паттерн в осмыслении ритмов сжатия и расширения и связанного с последним «похищения Европы» остаются атрибуты островного государства. «Остров Россия», поясняет Цымбурский, это не изоляционистская крепость. Автор, по его словам, «выводил» (!) эту модель «для осмысления ряда духовных и политических коллизий, пережитых в XVIII–XX веках сообществом по эту сторону Лимитрофа» (еще один ключевой термин, определяющий сухопутную «заводь», охватывающую постулируемый Остров с юга).

Во введении к книге «Speak, Memory!», имеющем характер авторского геополитического завещания, автор относит свою работу «к роду цивилизационного психоанализа», имея в виду окружающие фантазмы «возвращения в Европу» или «бредовые образования» типа тезиса Дугина насчет выстраивания «другой Европы – России будущего», где историческая Россия сводится до забытой периферии. Но если его и можно охарактеризовать как геополитического Фрейда, то – с бородой Менделеева. Исходя из знаний о базисных векторах человеческого опыта, вторичности «недорациональных», по М. Веберу (будь то ценностно-рациональных, аффективных или традиционных) типов действий по отношению к базисным универсалиям опыта, Цымбурский высказывает возможность «менделеевской таблицы» массовидных реакций на идеологически закрепленные клише. Геополитика, утверждает автор в статье «Бес независимости», – не основанная на концепте суверенитета социальная физика, продуцирующая нестабильность из-за конфликта между принципами легитимности и баланса, а основанная на идее авторитета молекулярная химия. Отмечая разрушительный характер концепта суверенитета для СССР, Цымбурский прослеживает коллизии суверенитета факта и суверенитета признания на постсоветском пространстве, где происходит выделение политической энергии за счет расщепления интегративной ткани общества. Метафора же острова позволяет говорить не о распаде, а

о сжатию России, обозначить диапазон вариаций, в которых можно говорить о сохранении России как геополитического субъекта, провести пределы, за которыми эта субъектность исчезает.

Возникает визуальный образ рецензируемой книги – геоменделеевская таблица-этажерка периодических пространственных элементов с расставленными по полкам часами для каждого из этих элементов, обозначающих утверждение интуитивно явной Цымбурскому исторической связи эпох. Вопреки О. Шпенглеру, не считавшему, что установленный им исторический цикл имеет какое-то отношение, В. Цымбурский переводит стрелки на циферблатах таким образом: «Высокая культура, которая “стартовала” в XV–XVI веках становлением Московского государства с его религиозными и художественными формами, в XVIII веке достигла стадии, соответствующей европейскому Высокому Средневековью, а со второй половины XIX века по наши дни переживает пору городской революции с временем тираний и с великой большевистской реформацией, собравшей разрушившуюся Белую империю под новую сакральную вертикаль (чего европейским протестантам XVI–XVII веков так и не удалось добиться при всех замыслах их лидеров реорганизовать Священную Римскую империю)» [25:314].

При всей этой отстающей наглядности шпенглеровского цикла в российской истории Цымбурский предлагает также иметь в виду материальную и духовную вовлеченность и в общий региональный, а потом и планетарный порядок, выстроенный высокой культурой Запада. На вызовы этого порядка все время приходится реагировать, как, к примеру, Петру Первому, в условиях еще только «феодализирующейся» России создававшей промышленность, технологически соответствующую уровню раннебуржуазной Европы (продуктивностью своей отчасти даже превосходя этот уровень). Такого же свойства проблемы создаются теперешними российскими мегаполисами (прежде всего – Москва как нью-петербург), городами-порталами неоимперского «объединенного мира», по ряду показателей соответствующие не российской стадии по шпенглеровскому циклу, а нынешней стадии Запада периода космополитических столиц и работающих на них империй.

Многие современные наблюдатели за империями акцентируют внимание на соответствии нынешних российских границ состоянию XVII века. Но, согласно Цымбурскому, «крутая федерализация России в XX–XXI веках в две волны – с падением сперва православной империи, а потом большевистской идеологической сверхдержавы стадияльно соответствует состоявшемуся еще в XV–XVI веках распаду европейской «духовной империи» на суверенные государства –

политическую собственность королей, князей и олигархий, – связанные поверх религиозных и идеологических расколов геополитикой и геокulturой. Поэтому-то выкованное европейскими политиками и законниками XVI–XVIII веков для осмысления постимперской (раннего модерна) ситуации понятие суверенитета в России тех времен интереса не представляло, но пришлось ко двору в конце XX и в XXI веке в применении к новому политическому «театру», в котором идея «верховой власти» схлестнулась с идеей «неотъемлемой политической собственности, укорененной в особенностях и традициях выделившихся в субъекты Федерации территорий. Таким образом, «федерация обретает у нас значение, аналогичное тому, какое абсолютизм и *national state* имели в истории евроатлантической государственности и политики» [25:314].

Таким образом, в результате реакции на соединение Фрейда и Менделеева получается внутренний Шпенглер. Менделеевская пространственно-временная таблица соединяется со своеобразной синусоидой соединительных между Западом и Востоком ритмов. Обоим флангам – пребывающей сейчас в мировом геополитическом тупике Евро-России и Дальнему Востоку, которому не то грозит, не то светит отход в тихоокеанский мир – присуще меридиональное географическое развертывание по Волге и Дону, а также идущим с севера на юг железным дорогам. В строении дальневосточного фланга подобную роль исполняют как связывающее обжитую Южную Сибирь течение Лены, так и побережье Тихого океана. Тогда как развертывание Урало-Сибири – преимущественно широтное, Транссиб и Северный морской путь соответствуют «фланговому» развороту зон тундры, тайги и степей.

Кажется, никто еще так адекватно не ответил Пушкину, которого чтение книги французского математика, инженера-кораблестроителя и статистика Шарля Дюпена «Производительные и торговые силы Франции» (1827) вдохновило на такие строки VII главы «Евгения Онегина»: «Когда благому просвещенью // Отдвинем более границ, // Со временем (по расчисленью Философических таблиц, // Лет чрез пятьсот) дороги, верно, // У нас изменятся безмерно...». Т. е., как границы ни отодвигай, сами направления дорог не изменятся...

Цымбурский, безусловно, проделал работу целого института геополитики, проявив свою геополитическую волю и в ряде конкретных рекомендаций властным структурам (с нередким досадным «надо было бы»). Нельзя сказать, что все бесспорно и обошлось без пробелов. В посвященной книге Андрея Зорина «Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века» рецензии он оперирует понятием

«греко-крымский комплекс», представляя его как способ «репрезентировать константинопольскую тему в очень специфических условиях русского XVIII века». Между тем, в книге Ольги Елисейевой «Геополитические проекты Потемкина», которая приведена в списке использованной литературы, показано принципиальное отличие пресловутого «греческого» проекта, который проводился в жизнь придворной «прусской партией», и альтернативного по своему духу «крымского» проекта (перечеркивающего «греческий»!) «русской партии», более соответствующего тогдашним интересам России [8:16].

Апеллирование автора к народам и элитам в конечном счете сводится к проблеме обновления элитного геополитического видения, поскольку «наш городской политический класс, чье становление началось при большевизме, существует в странном статусе потенциального класса, растворенного в посттоталитарной “толпе одиноких”». Рецензируя книгу В. Суркова «Тексты», он выражает «изумление» высказанному в этой книге сожалению об «отсутствии эффективного самоуправления в самых верхах нашего общества», о том, что «как только властную вертикаль выдергивают из общества, высший класс, такой прекрасный и самодостаточный, рассыпается в одну секунду». Т. е., наверху надо быть еще «суверенней», чтоб не дать перехватить власть «самоуправляющемуся» коллективному Ходорковскому из 2–3 процентов населения.

Изумление, однако, вызывает чисто аппаратный подход насчет особенностей верховных самоуправлений и полное отсутствие воли у кого-либо в этом элитарном собеседовании к строительству реальной демократии снизу. Между тем, если вернуться в «знаковый» для России европейский XV век, то тогда уже почти двести лет там развивалось магдебургское городское право, наращивающее слои фундаментальной свободы начиная самоуправления цехов и улиц. Цымбурский же выдает не только советы, но и индульгенцию на кратоиспускания с вертикали. Как там ею воспользуются?

Цымбурский – фигура трагическая в своем полном слиянии с исследуемым материалом. По его мнению, «история не кончилась до тех пор, пока ценности универсальной гражданственности рода противостоят ценностям расплывающейся “великой простоты” – ценностям раковой клетки». К сожалению, организм взбунтовался именно таким образом против цветущей гражданской сложности (т. е. автор безвременно скончался), дальнейшая судьба которой теперь в руках читателей его книг.

**«Тебе броню дает родной завод “Компрессор”...»:
Куликово поле и посткуликов абсолют**

*Радий есть христианство, братия мои.
Пикассо есть христианство, братия мои. –
Есть пустыня Оптинская, в ней старец Нектарий,
убежище для паровозов и радия уготовляет.
Ночью Иисусу своему, из плоскостей и палок
состоящему, кадит и молится.*

Константин Вагинов. Козлиная песнь

По мнению Д. Эли, модусы анти-, интер- и кросс-дисциплинарности означают «нарушение, ...неповиновение, ...нарушение правил, ...перелом, пересмотр, экспериментирование, идейное новаторство, риск»; и также они направлены на то, чтобы «изменять наши привычные представления и традиции в сфере познания, для того чтобы избавляться от значений, а не накапливать их» (цит. по [15:357]). Парадокс «переломного» или «надломного» в самом себе движения – текущее *воцерковление* России идет в параллель с экономическим, политическим и эстетическим *восырьеванием*. Сквозь призму параллаксного видения Славоя Жижека пока что лучшим памятником героям Куликовской битвы 1380 года Александру Пересвету и Андрею Ослябе остается расположившийся было на их могилах компрессорный цех завода «Динамо».

Источники свидетельствуют, что когда Сергей Радонежский по просьбе Дмитрия Донского благословлял на подвиг этих двух уже не молодых послушников, он дал им «вместо тленного оружие нетленное» [16]. *Вместо (!)* стальных шлемов надлежало воинам возложить на себя схиму – матерчатый шлем ангельского образа с нашитыми на нем крестом и голгофами. Данная таким образом противнику техническая и отчасти тактическая «фора» придала дополнительную моральную силу и вследствие этого *динамичность* воинам, щиты и копья из рук все же не выпустившим.

Если бы у нас был другой генералиссимус (не Сталин, организовавший даже в Испании внутри гражданской войны еще одну свою внутреннюю войну против троцкистов и анархистов, а Франко, «примиривший» соотечественников общим памятником жертвам этой войны, но в нашем случае с неизбежной евразийской составляющей), вероятно, был бы уже воздвигнут какой-то общий памятник Пересвету и тюркскому богатырю, представителю буддистской воинской секты высшей степени посвящения Челубею. Но по-своему замечательный скульптор Вячеслав Клыков был не Сальвадором Дали и не Пи-

кассо. Его надгробие буквально отражает тот факт, что в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на территории Симонова монастыря покоятся рядом павший в поединке с Челубеем Пересвет (удар получился такой силы, что погибли не только всадники, но и их кони) и Ослябя (сначала считалось, что он умер своей смертью через двадцать лет, но в последнее время прояснилось, что и он тоже пал на Куликовом поле).

Святыни закрывались и до Советской власти. Во время эпидемии чумы 1771 года монастырь был обращен в карантин (иноков перевели в Новоспасский монастырь, где они все умерли от болезни), а затем – в военный госпиталь (именно в эти годы по опустевшим кельям бродил сентиментальный литературный врачеватель Николай Карамзин). В самой церкви была трапезная. В 1795 году церковная жизнь была восстановлена стараниями духовенства и графа Мусина-Пушкина. В 1812 году не обошлось без одной из пресловутых наполеоновских конюшен.

Электротехнический завод, получивший название «Динамо» и ставший крупнейшим предприятием превратившейся в промзону Симоновской слободы, бельгийское акционерное общество – Центральное электрическое общество – начало строить еще в 1897 году. В 1906 году завод «Динамо» перешел в руки русского электрического общества «Вестингауз», дочернего филиала американской фирмы, крупнейшей международной монополии, которой принадлежали сотни предприятий и отделений в разных частях света.

Следствием социалистической индустриализации как практической реализации авангардного проекта стало поглощение монастыря заводом. Завод не стал ломать крепкие церковные стены, которые еще могли послужить на благо нового пролетарского государства. Надгробие могил Пересвета и Осляби было продано как железный лом за 317 рублей 25 копеек. «Вместо» могил в пол церкви врыли мощный мотор, который, работая, изо всех сил сотрясал стены. От производства полукустарным способом электрооборудования по зарубежной технической документации завод перешел к более масштабному производству электродвигателей и аппаратуры для электрического городского транспорта, краново-подъемных устройств, экскаваторов, прокатных станков и морских судов. В 1932 году отсюда вышел первый советский магистральный электровоз «Владимир Ленин». В годы Великой Отечественной войны завод выпускал оружие и ремонтировал танки.

Особенность российского имперского *«надлома»* заключается в том, что он изначально заложен в учреждающем имперском *«коренном переломе»* (петровском, большевистском, криминал-привати-

зационном). Во всяком случае, налицо такие параллели реставрационного *воцерковления/восырьевления*. В 1977 году в ответ на обращение к А.Н. Косыгину членов Всероссийского общества охраны памятников с просьбой принять меры к реставрации церкви в преддверии празднования юбилея Куликовской битвы моторы с могил удалили (кажется, ничего более существенного реформистски настроенному Косыгину добиться не удалось, страна вступила в «застой»). В 1989 году храм Рождества Богородицы вернули РПЦ, но «надломилась» уже в себе самой и «перестройка» «надлома». Сейчас внутреннее убранство церкви практически восстановлено, но остановившийся завод теперь уже полностью разбирается тоже на металлолом, как и другие предприятия, часть которых превращается при этом в музеи современного искусства. В XVII–XVIII вв., во время колонизации Урала, возникло такое явление, как «завод-крепость». Приметой замены крепостной экономики на сырьевую стала «выставка-завод», что наглядно отразилось и в смене аббревиатур когда-то главной выставочной площадки страны: вместо ВДНХ – ВВЦ. «Отработанный» авангард опять возвращается в дистиллированное, при всей своей «экспериментальности», искусство. Время *соцарта* уходит, приходит *кап-арт*, зависящий от того, что там *накапает* из проходящей мимо местного руинированного с возможным художественным использованием завода трубы в подставленные кураторские («комиссарские»!) ладони.

Диалектику архетипически исторического (а не историописательного) «надлома» я бы представил следующим образом: *учреждающий коренной перелом – скелетно-тканевый нарост – надлом – геополитическая ампутация – сырьевая ортопедия*. Когда совершенно голый Олег Кулик встал на четвереньки, залаял и стал кусать прохожих перед российскими, американскими и западноевропейскими галереями (1994–1996), он напоминал агрессивный вариант требующего милостыни обезноженного инвалида войны, в условиях символической экономики приобретающего посредством прохода по глобальной электричке весь мир. Уже через несколько лет вполне традиционный «цербер» в штатском не пускал посторонних на закрытую пресс-конференцию по поводу открытия выставки «Absolut-Art» как ядра 7-й выставки-ярмарки современного искусства «Арт-Москва» (2007), куратором которой значился уже вполне респектабельно одетый художник с мировым именем Олег Кулик. В целом Кулик (ходили слухи, что именно он приобрел первый в своем роде «Винзавод», хотя на самом деле он просто открыл на этой артплощадке первую персональную выставку) актуализирует и проблематизирует новую утопию нового человека-собаки, знаменующую вывернутый вовне *самопоединок* собаки и Ивана Павлова.

Новые же, респектабельные, музейные утопии сырьевого потребления реальных, если так можно выразиться, утопий оказались практически одновременно представлены на выставках – «Футурология/Русские утопии» в Центре современной культуры «Гараж» (утопия искусства и языка), «Пространство для одиночества» (утопия одиночества) в «Проекте Фабрика», «Процесс» на дизайн-заводе «Флаконт», где раньше действительно делали хрустальные флаконы для парфюмерной промышленности (утопия суда, посвященная последнему процессу над Михаилом Ходорковским), позже «Космическое государство трансцендентальных переворотов» (экзобиологическая утопия государства в космосе) в «Проекте Фабрика» (Фабрика технических бумаг «Октябрь») и «19/91» в ArtPlay, бывший флагман приборостроения, завод «Манометр» (утопия памяти).

Здесь самое время объяснить по поводу другого нашего неологизма – *истриостазис*. Наибольшую известность, с использованием основы *stasis* (στασις) – стояние, неподвижность), приобрел термин *гомеоста́з* — саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия; стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Есть еще *гемостазиограмма* – оценка функционального состояния свертывающей системы крови. Роберт Шекли в фантастическом рассказе «Билет на планету Транай» впервые использовал самостоятельно слово *стазис*, обозначающее поле, в котором прекращалась всякая деятельность организма, как рост, так и распад (на Транае в этом состоянии держат жён, извлекая оттуда по мере надобности), после чего этот термин широко распространился в сфере компьютерных игр.

Если известный тезис Ф. Фукуямы о «конце истории» рассмотреть сквозь призму учреждающего «нуля» одного из отцов авангарда Казимира Малевича, то понятие *истриостазиса* напрашивается само собой. Утверждая нуль как Альфу и Омегу как живописного, так и философского супрематизма, К. Малевич, с одной стороны, смыкался с как будто бы не ведомым ему буддизмом, с другой – прозревал эпоху «виртуальной реальности», для постижения которой необходимы новые умозрительные способности. Более того, представляя сразу два Нуля в одноименном рисунке («Два Нуля»), дублируя их количество словесно, художник-демиург как бы делал вызов структуре самого мироздания. В дальнейшем на холсты Малевича вступили люди-нули – ярко красочные фигуры с отсутствующими чертами лиц. Знаменательно название (а особенно подзаголовки) одной из его брошюр «Бог

не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика» (1922). В теории и практике он созидал синтетичный храм религии «чистого действия» – из нуля-пространства и времени. «Для мышления необходимо не только движение мысли, но и ее остановка, – об аналогичном ритме применительно к сфере исторического познания размышлял В. Беньямин. – Там, где мышление в один из напряженных моментов насыщенной ситуации неожиданно замирает, оно вызывает эффект шока, благодаря которому кристаллизуется в монаду. Исторический материалист подходит к историческому предмету исключительно там, где он предстает ему как монада. В этой структуре он узнает знак мессианского застывания хода событий, иначе говоря: революционного шанса в борьбе за Угнетенное прошлое. Он ухватывается за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного движения истории; точно так же он вырывает определенную биографию из эпохи, определенное произведение из творческого пути» [2:86].

Борис Гройс в статье «Искусство как авангард экономики» описывает, в сущности, парадигмальный сдвиг в современном искусстве от производства к потреблению (что, впрочем, безосновательно трактуется при этом как проявление самой сущности искусства)¹. В какой-то степени это соответствует политическому принципу компромисса,

¹ «Сейчас художник больше не является рабочим, пусть даже привилегированным, но начинает рассматривать мир собирающим взглядом господина... Сегодняшний художник, как фотограф, как медиа-художник или как собиратель рэди-мэйдов, конечно, находится на одном уровне с коллекционером по затратам времени и сил. Это уравнивает производителя и потребителя картин в сегодняшней временной экономике взгляда... Посетитель допускается искусством – но он не есть его подлинный потребитель. Скорее он принимает определенный род потребления, который, в качестве образца, демонстрирует ему художник в своей выставке, как прежде принимали в качестве образца аристократический образ жизни. Сегодняшний потребитель искусства больше не потребляет работу художника. Скорее он вкладывает свою собственную работу в то, чтобы потреблять как художник... Если манеры сегодняшнего художника аристократичны, то его методы, соответственно нашему времени, скорее бюрократичны или, точнее, технико-управленческие. Художник выбирает, анализирует, модифицирует, редактирует, перемещает, комбинирует, репродуцирует, управляет, помещает в ряд, выставляет или оставляет в стороне. Он манипулирует произведением искусства, как огромная современная администрация манипулирует всеми возможными данными. И делает он это с такой же целью: чтобы навязать потенциальному покупателю взгляд, перспективу, которая открыла бы ему интересный, новый, волнующий вид мира... Художник в наше время окончательно поменял стороны баррикады. Он не желает больше быть ремесленником или рабочим, который производит вещи, предлагающие себя взгляду других. Вместо этого он стал образцовым зрителем, потребителем, пользователем, рассматривающим, оценивающим и “воспринимающим” вещи, которые были произведены другими... Как фланёр с его суверенным взглядом, художник сегодня есть тот бесконечный потребитель, чье инновативное, “ненатуральное”, исключительно искусственное потребительское отношение представляет телос любой хорошо функционирующей экономики» [7].

противопоставляемому Ф. Анкерсмитом принципу консенсуса с его «плебисцитной» демократией: «Компромисс, как и сама репрезентация, скорее организует знания, чем добывает или пропагандирует их. Компромисс креативен в той же мере, что и репрезентация, и политик, которому удастся сформулировать условия наиболее удовлетворительного и долговременного политического компромисса, есть политик-художник *par excellence*. Что же касается консенсуса, то он губит политическую креативность в той же мере, в какой компромисс ее стимулирует» [1:32]¹.

«Влечение постмодерна к границам и конфликтным зонам, – вернемся к наблюдениям С. Кроптова, – имеет прямые коннотации с экономикой как пространством сопоставления несопоставимого, объединения разнородного, а сами пограничные зоны культуры оказываются стратегическим резервом неизвестного, “паралогического” (не-знания, не-искусства), которое противостоит рассудочной рациональности и имеет в постиндустриальной культуре экономическую ценность: является источником динамики, способно к генерированию новых эвристических смыслов.

¹ См. далее: «Перед лицом проблем нового типа, которые пришли на смену угрозе гражданской войны и выдвинулись на первые позиции в нынешней повестке дня (это как раз те проблемы, которые репрезентативная демократия, так сказать, ввела в обиход), главную опасность представляют для нас сегодня три искушения: установление прямой демократии, перекладывание ответственности за принятие решений на экспертов (будь то специалисты, делегированные от корпораций или от бюрократии) и погоня за консенсусом. Каждое из этих искушений чревато (для тех, кто не устоит перед ними) тяжелыми последствиями, о которых уже шла речь выше. Поэтому я предлагаю двигаться в противоположном направлении: мы должны сделать нашу репрезентативную демократию еще более репрезентативной, то есть более отвечающей эстетическому критерию оценки. Я полагаю, что нам следует стремиться к тому, чтобы эстетический зазор между репрезентируемым и репрезентирующим стал более широким (а это значит, что наши представители в законодательном собрании должны стать менее чуткими к каждодневным требованиям своих избирателей и более восприимчивыми ко всей картине в целом) с тем, чтобы увеличить спектр возможностей для проявления политического артистизма, то есть оставить больше пространства для творческого компромисса. Давайте выбирать депутатов, менее похожих на нас самих, более внимательных к композиции и форме (к творческой организационной комбинаторике), – вместо того, чтобы отдавать свои голоса тем, кто морочит нам голову, обещая неизменно занимать твердую позицию и одерживать победу за победой. Репрезентативная система правления – это не упражнения в поисках или утверждении истины; скорее это практика принципиальной непринципиальности, работа по выявлению возможностей достижения согласия и по организации «истин» (то есть по включению их в такие «политические композиции», которые казались прежде немислимыми). Именно благодаря эстетическим качествам компромисса репрезентативная – артистически представляющая свой народ – демократия может оказаться способной найти квадратуру нынешнего, похожего на мертвую петлю, круга нашей политической истории» [1:40].

“Руинная эстетика” в архитектуре, так же как и “мусорный дизайн” в искусстве постмодернизма, не являются лишь символами полной пространственной относительности внешнего и внутреннего, природного и социального, неценного и сверхценного. Они обнаруживают самое сокровенное и интериоризируют внешнее в пространстве души, подтверждая тем самым тезис о том, что само снятие противоположностей есть верный признак работы подсознания, динамики желания, логики сна» [11:20–21]. Категория «дифферанс», которая у Ж. Деррида стала соединением двух основных мотивов в трактовке «всеобщей экономии» — батаевской избыточности как проявления суверенности и ницшевского острающего снятия, может трактоваться и как точка различания/потребления истории и памяти.

Подводя итоги в своей цитируемой выше книге, П. Рикёр пишет о проектировании эсхатологии памяти, а затем эсхатологии истории и забвения. «Эта эсхатология, сформулированная в соответствии с желательным наклоном, структурируется в диапазоне от (и вокруг) желания красивой и умиротворенной памяти, из которой нечто передается в процессе исторической практики, и до неопределимой неясности, определяющей нашу связь с забвением» [19:635]. В рамках такого проекта остается высказать идею создания на одной из авангардно-сырьевых выставочных площадей ситуационного интерактивного памятника битвы истории и памяти (экстериоризирующей истории и интериоризирующей памяти), представленных в виде синтаксических характеристик, «функция которых состоит в композиции модальностей дискурса, достойных названия нарративных, идет ли речь об историческом рассказе или о рассказе вымышленном» [18:70]. Куликовой битве с целью взаимного освобождения истории и памяти из-под ига друг друга, с прибавочным внутренним сражением двух форм памяти в форме, скажем, парада и марша.

1. Анкерсмит Ф. Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфликту и компромиссу // Логос. 2004. № 2.

2. Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 46.

3. Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемиологии. М., 2003.

4. Вересова Н. URL: <http://nveresov.narod.ru/Part4.htm>

5. Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпораций. М., 2007.

6. Герасимчук И. Два мозга России. Как стать и остаться сверхдержавой, делая ставку на энергоэффективность // ЭСКО. Электронный жур-

нал энергосервисной компании «Экологические системы». URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2010_10/art060.htm

7. Гройс Б. Искусство как авангард экономики // Максимка: Журнал реального искусства. 1999. № 4. URL: <http://www.guelman.ru/maksimka/n4/index.htm>

8. Елисеева О. А. Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М., 2000.

9. Кобрин К. Умники и умница // НГ-Exlibris. 2001-09-13. URL: http://exlibris.ng.ru/lit/2001-09-13/2_umnik.html

10. Кропотков С. Л. Аллегии в эпоху экономимезиса: об истоках непаноптической иконографии стрит-арта // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 4 (5).

11. Кропотков С. Л. Проблема «экономического измерения» субъективности в неклассической философии искусства: автореф. дисс... д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2000.

12. Люсый А.П. Греческий огонь: Идеи проекта международного парада утопий на Красной площади // Человек. Культура. Образование. 2012. № 2 (4).

13. Люсый А. П. Нашествие качеств: Россия как автоперевод. М., 2008.

14. Мегилл А. Историческая эпистемиология. М., 2007.

15. Мегилл А. Эпистемиология истории. М.2009.

16. Повести о Куликовской битве. М., 1959.

17. Прох Л. Словарь ветров. Л.: Гидрометеиздат, 1983.

18. Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. М., 2000.

19. Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004.

20. Судьба европейского проекта времени / отв. ред. О. К. Румянцев. М., 2009.

21. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.

22. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2011.

23. Хайдеггер М. Тожество и различие. М., 1997.

24. Хальвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

25. Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011.